

# Содержание

Мои дорогие дети .....	9
------------------------	---

## Часть 1 Музыка

Глава 1. Пришли мне телеграмму .....	25
Глава 2. Так и было .....	30
Глава 3. Помогите, я получил наследство! .....	41
Глава 4. В блаженном неведении .....	50
Глава 5. В великолепной изоляции .....	69
Глава 6. Генеалогическое древо .....	81
Глава 7. До поры до времени .....	94
Глава 8. Они танцевали, пока не наступил конец света .....	108

## Часть вторая Выживание

Глава 9. Ты плохо утеплился .....	125
Глава 10. Преследуемые и затравленные .....	136
Глава 11. Либо ты, либо я .....	143
Глава 12. Добыча каждого .....	152
Глава 13. Как все интересно складывается .....	160
Глава 14. Пианист из Будапешта .....	171
Глава 15. На горизонте сгущаются тучи .....	181
Глава 16. Чтобы это больше не повторилось .....	211

## Часть третья Надежда

Глава 17. Я лучше вернусь в Венгрию .....	231
Глава 18. Комната без стен .....	237

<i>Глава 19. Все вместе</i> .....	244
<i>Глава 20. Какими мы были людьми?</i> .....	272
<i>Глава 21. Помни меня</i> .....	283
<i>Глава 22. Спи, мой малыш</i> .....	289
<i>Глава 23. Прощание с Будапештом</i> .....	293
<i>Глава 24. Для тех из вас, кто слушает</i> .....	298
<i>Эпилог</i> .....	302
<i>Благодарность</i> .....	317

# Мои дорогие дети

*Берлин 2020*

В моей семье есть рояль. В правом верхнем углу — крошечные отметины там, где мой папа грыз дерево своими молочными зубками. Годы спустя, когда отец исполнял свои композиции, я играла под инструментом и впитывала звуки, пока мои руки не стали достаточно длинными, чтобы дотянуться до клавиш.

Сейчас я сижу за этим роялем, и, если постараться, пальцы растянутся почти на целую октаву. Я могу охватить эти восемь нот целиком, но я не могу заставить разум осознать, что мой папа только что умер.

Он ушел из жизни в этой гостиной, и рояль стоял без дела, пока сюда не переехал его очередной хранитель. На смену напряженности последних недель пришла тишина — мой папа никогда не хотел становиться обузой для других. Поэтому он выбрал для смерти подходящий момент, редкую минуту, когда никого из нас, ни мамы, ни сестры, ни наших партнеров, ни меня, не было с ним в комнате. Были только он и рояль.

Рояль появился раньше, чем я его помню. Он всегда был с нами, и в какой-то степени я воспринимала его существование и общение с ним как должное. Но такая огромная потеря рисует все в новом, более суровом цвете. Сейчас, когда я смотрю на инструмент, я вдруг отчетливо осознаю его возраст. Он не

блестит черным лаком, как большинство роялей. Напротив, его дерево состаренное, матово-коричневое, со светлыми пятнами там, куда через жалюзи на него светило солнце, как пигментные пятна на лице старика. Тонкие клавиши цвета слоновой кости словно выцвели от прикосновений, а над ними потускневшими золотыми буквами написана марка: *Blüthner*\*. Кажется, что ему место в музее, но он стоит в доме моих родителей в пригороде Берлина, где я выросла.

По особым случаям папа открывал верхнюю панель этого миниатюрного рояля. Для меня в детстве это было самым волшебным превращением: внутри инструмента пряталась целая потайная вселенная: напоминавшие арфу золотые струны удерживались светлыми деревянными молоточками, и тонкий темный цоколь на каждом конце, позволяющий приподнять верхнюю панель и обнажить яркие внутренности. С открытым роялем звук становился более ярким и певучим и звучал более молодо и живо.

Большую часть времени рояль стоял со спокойным и вызывающим видом. Он хоть и авторитетный, но добрый, и позволяет малышам барабанить по клавишам липкими пальчиками. Он ненавязчиво подбадривает, приглашая играть любого исполнителя, как профессионала, так и любителя. Есть в нашем инструменте что-то такое, что раскрывает

---

\* Далее — «Блютнер». *Blüthner* — производитель фортепиано и роялей, расположен в Гросспезне (Лейпциг, Германия). Одна из старейших семейных компаний по производству фортепиано. Основана в 1853 году Юлиусом Блютнером (1824–1910) (здесь и далее прим. пер.).

лучшие качества в его исполнителях, а в моей семье их было уже четыре поколения.

Семейная легенда гласит, что мой прадедушка Аладар купил этот рояль в 1905 году в Венгрии в подарок своей будущей жене Катице в честь их помолвки. Она, в свою очередь, передала его своему сыну, Стефану, а после его смерти инструмент переехал сюда.

Я умею играть, но не так, как мой отец. Теперь, когда его не стало, ухаживать за фортепиано придется мне. Я певица и автор песен, живу в Лондоне в эпоху потокового воспроизведения музыки и размышляю о том, смогу ли я когда-нибудь купить себе дом, достаточно большой, чтобы в него поместился рояль. Я представляю, как кран натужно поднимает его в мою съемную квартиру, и могу предположить, что скажет хозяин. У меня хорошо получается писать песни и петь, но я никогда не смогла бы так красиво импровизировать или играть на фортепиано, как папа с его абсолютным слухом и чуткостью — идеальным сочетанием ума и сердца. Теперь, когда он больше не сидит рядом со мной и не подкрепляет мои возвышенные мелодии правой руки своими успокаивающими басами, я чувствую себя потерянной.

В этом доме хранятся и более необычные предметы. Стены увешаны семейными портретами. Самый большой висит прямо над роялем. Это темная прямоугольная картина, на которой изображена очаровательная молодая женщина. У нее короткие темные волнистые волосы, розовощекое личико в форме сердечка и маленькие, круглые, блестящие глазки. Ее эффектное серебристо-серое платье оторочено темным мехом и демонстрирует обнаженное

плечо. На ней длинное жемчужное ожерелье, подходящие к нему серьги и такой же браслет. Ее улыбка — смесь кокетства и скуки. Думаю, она хотела хорошо выглядеть на портрете, но, скорее всего, устала позировать.

На рояле стоит маленькая черно-белая фотография молодого человека; его руки лежат на клавишах того же рояля, перед которыми сижу я. На нем пиджак от сшитого на заказ костюма, из-под которого выглядывает белоснежная рубашка. Выражение его лица безмятежно, взгляд устремлен вниз.

Портреты всегда становились предметом разговоров, когда кто-нибудь приходил в гости в первый раз. Ни у кого из моих друзей на стенах не висели портреты умерших родственников. Когда я была маленькой, они становились хитом на вечеринках с ночевкой: мои друзья представляли себе, что лица в рамках — это привидения, которые могут ожить, пока мы укладываемся спать.

— У тебя богатая семья? — однажды в школе спросила меня девочка, когда я рассказала, что у нас дома стоит рояль.

— Нет. Думаю, мы были богаты, но когда-то давно, — ответила я. Мне тогда было семь лет.

Великолепие портретов и рояля резко контрастирует с окружающей обстановкой. Моя мама — социальный работник на пенсии, а папа, о котором мне трудно говорить в прошедшем времени, — музыкант, подрабатывающий преподаванием. В перерывах между уроками он выступал с концертами, в разных группах или как сольный автор-исполнитель. Мои родители — дети шестидесятых и семидесятых: либеральные, импульсивные, не ориентированные

на бизнес или карьеру. Тем не менее они часто спорили из-за денег. В каком-то смысле миниатюрный рояль и семейные портреты не давали им покоя. То были призраки ушедшей эпохи, намекавшие на потерянное состояние.

Корневая нота любого музыкального ключа называется «дом». В песне «дом» — это якорь. Когда мы его слышим, интуитивно ощущаем, что достигли цели и находимся в безопасности. Мне никогда не приходилось задаваться вопросом, чем я хочу заниматься в жизни. Каким бы расплывчатым ни было мое представление о своих истоках, я всегда была уверена в том, куда иду. В возрасте 4 лет, после того как меня познакомили с *The Beatles*, я решила, что буду заниматься музыкой. Я была одержима идеей писать собственные песни и предпринимала первые неуклюжие попытки играть на нашем рояле, подражая в равной степени папе и Джону Леннону.

Найти дом за пределами музыкального контекста было сложнее. Где бы я ни оказалась, я везде остаюсь иностранкой. Как и мама, я родилась здесь, в Берлине. Папа родился в Англии, в Западном Мидленде, как и моя сестра. Мы всей семьей переезжали с места на место, и ни одна из стран не казалась нам подходящей, но либеральный Берлин в итоге одержал победу над чрезвычайно консервативным Западным Мидлендом. Мама так и не смогла привыкнуть к тому, что ее дети носят форму, и к тому, что не принято обращаться за повторной консультацией к врачу, чтобы узнать еще одно мнение.

Принадлежность к двум культурам и владение двумя языками на одинаковом уровне несет в себе

уникальный набор преимуществ и недостатков. Я могу отделить звучание слова от его значения. Как автор песен, я бы не хотела этого упускать. Сравнить фразеологизмы — отдельное удовольствие (в немецком языке мы ходим вокруг горячей каши, а не ходим вокруг да около). Но существует предел тому, насколько полно я могу выразить себя на любом из этих языков, и, когда общаюсь с кем-то, кто отождествляет себя только с одной из этих культур и языков, какая-то часть меня всегда остается в тени.

А еще, помимо немецкого и британского, есть третий, скрытый слой моей личности — реликвии и предания. Портреты, рояль — все они говорят на своем языке, еще больше усложняя мой ответ на часто задаваемый вопрос: «Откуда вы?», «Дом», как клавиша «до», для меня гораздо более простое понятие.

Я с раннего детства знала, что артефакты в нашем доме — рояль и портреты — необычны. А чуть позже поняла, что также необычно иметь дальних родственников, разбросанных по всему земному шару. Ребенком я полагала, что у каждого есть множество родственников в разных уголках мира, таких как Канада, США и Австралия. Я мало задумывалась о том, почему мы все живем так далеко друг от друга. Все старшие родственники со стороны моего папы говорят с разным акцентом, и у всех более одной национальности. Во всех есть что-то, что выдает в них «иностранцев».

Большинство этих родственников давно умерли, но я помню, как бабушка и мой двоюродный дедушка Лорант говорили друг с другом по-венгерски. Для меня их разговоры звучали как фантастический

анимационный сериал. Единственный надежный оплот, связывающий мою семью с ее корнями, — двоюродная сестра моего отца, Юдит. Она живет то в Венгрии, то в Швеции. И акцент у нее другой: когда она говорит, ее английский представляет собой довольно отчетливую смесь родного языка и языка той страны, в которой она в данный момент проживает. Поскольку Берлин находится где-то по пути между Венгрией и Швецией, она нас часто навещала. Она всегда здоровалась с моим папой на том тайном, утраченном языке: *Szervusz dragam*. Хотя для него этот язык тоже был тайной, он знал, что ее слова означают: «Здравствуй, дорогой».

Я не помню, в какой момент узнала, что семья моего отца, все эти лица на портретах и фотографиях, были евреями. Я словно всегда осознавала этот факт, как будто основой для их портретов служил какой-то определенный оттенок краски. В целом, мы почти не обсуждали, что значит быть евреем, но в нас жило смутное представление, что именно по этой причине мы, семья, спустя два поколения оказались в совершенно разных местах, как физически, так и метафорически.

Папа никогда не считал себя евреем, как бы ни настаивала его двоюродная сестра Юдит на принадлежности к этой национальности, нравится ему это или нет. Он подчеркивал, что даже мои дедушка с бабушкой и прадедушка никогда не исповедовали иудаизм. Мы росли в семье, где не было предписанной религии. Мама хотела, чтобы мы с сестрой доросли до определенного возраста и сами решили, хотим ли мы посещать какую-либо церковь. В итоге мы так ничего и не решили. Отношение отца

к вероисповеданию было более сложным. Он так же, а может быть, и более решительно настаивал на том, что мы должны жить без религиозного ярлыка, но по причинам, которые даже он сам до конца осознал лишь много позже. Моему отцу потребовалась целая жизнь, чтобы принять и понять, сколько в нем накопилось унаследованного страха. В конце концов его пылкие попытки избавиться от «еврейства» оказались тщетными: он умер в Йом-Кипур, самый священный день еврейского календаря.

В доме моего папы есть ящики и коробки, набитые старыми кассетами, компакт-дисками, письмами, документами, книгами и фотографиями. Он в шутку окрестил себя «Рихардом-регистратором» и приобрел репутацию хранителя всего, что связано с историей семьи. Каждый раз, когда умирал кто-то из старших членов семьи, все негласно соглашались: «Что ж, Рихард этим займется». Каждый раз, когда его сестра, моя тетя Юлия, проживала фазу расхламления (а это случалось так часто, что я всегда удивлялась, откуда у нее вообще берется беспорядок и где она находит предметы, которые нужно выбросить), она отправляла папе стопки документов и фотографий вместе с запиской, написанной уверенным размашистым почерком: *«Дорогие, вот фотографии мамы и папы в отпуске и еще несколько незнакомых мне лиц — пусть они принесут вам радость. С любовью, Юлия»*. Большую часть своей жизни моя тетя ощущала физическое присутствие вещей, особенно тех, что касались истории семьи, как тяжкий груз.

Мы со старшей сестрой обескуражены тем фактом, что жизнь нашего папы теперь является частью

растущей семейной истории; его документы, фотографии и личные вещи хранятся вместе с вещами его родителей и тех, кто был до них. Он умел собирать и накапливать случайные обрывки информации и хранить их в самых невероятных местах, что превращало разбор его вещей в эмоциональное минное поле. Как я могу выбросить телефонный счет, если на его обороте нацарапан набросок стихотворения или песни? Я открываю крошечную коробочку, спрятанную в глубине ящика, — в ней камешек, скрепка и зуб: «О да! Разве ты не знаешь эту историю?» Сестра смеется, глядя на мое растерянное лицо, и мы приостанавливаем процесс сортировки, и я слушаю ее рассказ. Мы каждый раз убеждаемся в том, что никто из нас не знает историю этого загадочного набора вещей, и мы плачем и жалеем, что не слушали, не спрашивали и не запоминали в той мере, в какой могли бы.

Я один за другим открываю ящики шкафчика для бумаг, который стоит на столе. В нем — идеально сложенные кассеты. Некоторые из них пустые или подписаны незнакомой рукой, а большинство помечены четким почерком папы, а не неразборчивыми каракулями его сестры. Его почерк аккуратный, равномерный. Я смотрю на него, и на душе становится тепло.

*Стефан — Радужные комнаты, 1957.*

*Стефан — 1907–1920.*

*Стефан — в сентиментальном настроении.*

*Стефан рассказывает свою военную историю. Часть 1.*

*Стефан рассказывает свою военную историю. Часть 2.*

*Стефан рассказывает свою военную историю. Часть 3.*

В эти первые дни горевания у меня возникает так много, казалось бы, случайных, незначительных мыслей. Когда я нахожу кассеты, меня переполняют эмоции: не любопытство по поводу их содержимого и не радость от того, как много интересного мне предстоит там обнаружить, а удивление, как аккуратно все сложено и как грамотно организованы ящики. В такие моменты я как никогда ощущаю свою неполноценность. В отличие от папы, я не умею поддерживать в доме порядок.

Позже тем вечером я прослушиваю одну из неподписанных кассет и натыкаюсь на знакомый звук нашего рояля. У него неповторимый, теплый, мягкий тембр. Но играет не папа. Судя по звучанию, запись слишком старая, а игра чересчур витиеватая и классическая: точно не его.

Я не знала Стефана, моего дедушку, того самого щеголеватого мужчину на фотографии на крышке «Блютнера». Для меня он — абсолютная загадка. Однажды я его все-таки видела, но мне было всего несколько месяцев от роду, и я его не запомнила. Поэтому впитывала рассказы и впечатления других людей о нем, но они были сбивчивыми и рисовали противоречивый образ.

На более поздних фотографиях, запечатлевших его в оранжево-коричневых тонах 1970-х и начала 80-х, он выглядит уязвимым. Его лицо добрее, чем на более ранних черно-белых снимках, но

я чувствую, каких усилий ему стоит неподвижно сидеть в кресле и улыбаться на протяжении всего процесса съемки. Фотография, на которой он играет на фортепиано, демонстрирует спокойную уверенность. У него есть то, что я называю «глазами артиста»: взгляд, который устремлен в зал, поверх голов людей, не фокусируется ни на чем конкретном, но дает каждому находящемуся в зале ощущение, что его видят. Такой образ дедушки мне нравится.

Кассета, которую я слушаю, — это копия записи, сделанной с помощью феррографа в 1954 году. Стефан играет свою композицию под названием «Сны старой мельницы»\*. Возможно, это единственная его композиция, с которой я знакома. Хотя сквозь призму удушающего горя мне кажется, что слышу ее впервые.

Мелодия начинается угрожающе тихо и медленно. Она полна печали и как нельзя лучше отражает мое душевное состояние. Затем Стефан деликатно перебирает клавиши, создавая звук, который мы могли бы услышать в старом фильме, когда главный герой засыпает. Музыкант плавно проводит слушателя через весь спектр эмоций, от романтики до хаоса, от драмы к разрешению. В конце композиции раздается щелчок и появляется голос. Вероятно, Стефан делал запись поверх предыдущего дубля — на заднем плане под его словами звучат призрачные аккорды фортепиано. С современными технологиями это было бы сделать легко: я бы записала две отдельные дорожки в цифровом формате, одну с игрой на фортепиано, другую — со своим

---

\* An Old Mill is Dreaming (англ.).

устным сообщением, и наложила бы их друг на друга с помощью программы, регулируя громкость каждой отдельной дорожки. А в 1954 году это, вероятно, было достигнуто благодаря чистой случайности. Каким-то образом, когда Стефан перемотал кассету и записал на нее свое сообщение, оно, должно быть, не полностью стерло то, что было на этой пленке. Словно по волшебству, звуки призрачного рояля идеально подчеркивали его послание:

*Это история о старой мельнице, одиноко стоящей в поле. Голос у него глубокий, а запись зернистая. У него резкий венгерский акцент, который удлинняет букву «о» в слове «одиноко».*

*Летней ночью, в полнолуние, ей приснилось, что она снова молода. Она пела песню о любви своей юности и чувствовала, как ее колеса крутятся все быстрее и быстрее. Она пела и радовалась от всего сердца. Внезапно сон прошел, но мельница не хотела в это верить. Она хотела продолжать жить, оставаться молодой. Она снова и снова заставляла свои колеса крутиться, но колеса не могли... больше. Они остановились. Старая мельница снова замерла в лунном свете, утратив всякую надежду и осознав, что молодость не вернется.*

В конце жизни папа не смог поддерживать «колеса» в движении. Однако, в отличие от старой мельницы, он никогда не терял своей молодости. Мои мысли прерывает очередной щелчок на кассете. И снова этот голос: *Дорогие дети. Моя история подошла к концу.*

*Завтра Рихарду исполнится семь лет. Пусть Бог даст тебе и твоей любимой младшей сестренке Юлии здоровья и счастья на всю жизнь.*

Когда я слушаю, как дедушка поздравляет моего папу с днем рождения, время замирает. Я мысленно протягиваю руки и обнимаю того семилетнего мальчика. Затем я сосредотачиваюсь на глубоком голосе с иностранным акцентом. Интересно, какую историю он рассказывает. В «Снах старой мельницы» в девять минут, кажется, уместилась целая жизнь. Жизнь, полная грубых вмешательств.

Я знаю, что Стефан был обаятельным, хотя некоторые описывают его как человека с тяжелым характером. Мне рассказывали, что он порой разговаривал в резком тоне и произносил жестокие слова. Знаю, что до войны он был пианистом и добился определенного успеха. Я знаю, что его отправили на принудительные работы в Россию и что он каким-то образом это пережил, как и заключение в концлагере. Знаю, что он запретил моему отцу возвращаться в Венгрию и папа исполнял его волю до самой смерти Стефана. Я знаю, что Стефан записал пережитое во время войны на кассеты. Я никогда не чувствовала себя готовой это услышать. Знаю, что, когда он в 1948 году эмигрировал в Англию, Иштван стал Стефаном. Он изменил нашу фамилию с венгерской «Бастай Хольцер» на «де Бастион», которая звучала немного по-французски. Я всегда считала, что это многое о нем говорит. Должно быть, он уже сильно устал и не хотел ассимилироваться, но в нем еще оставалось довольно энергии и гордости, чтобы не желать полностью сливаться с толпой. С тех пор как я начала выступать, люди считают, что де